



*Алексей Валерьевич Фунт родился в 1991 году в селе Шляхово Белгородской области. Учился на историческом факультете Белгородского государственного университета. Публиковался в литературном интернет-издании «МОЛОКО» и ряде других региональных СМИ. Живет в селе Шляхово.*

**Алексей Фунт**

## **БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА**

*Рассказы*

**П**од ногами — понтонный мост, темно, и стараюсь не споткнуться, не упасть бы в воду. Дон огромен, кажется, что он километровой ширины. Ранняя весна прибавила ему сил. Давно не был в этих краях. Ростов «южный» впереди, а позади где-то в меловых холмах — Белгородчина, а еще дальше — Залесская Русь с Ростовом «древним», где мощи святых за смолой древних сосен. Но дыхание столицы чую за спиной и тут. Я иду по старому наплавному мосту.

Это было до того, как в старинной казачьей станице Казанской построили капитальный железобетонный мост. Тут начинается Ростовский край. А Дон созвучен чему-то огромному: Кармадон, Асархаддон, исседоны, мегалодон; карман судеб, перекресток древних путей, иранские племена скифов черпали воду из него.

Иду, а сбоку едет машина, почему-то пришлось пройти пешком — или захотелось так. «Ока» моего дяди едет через Дон. Ночь темна. Подвижен понтон. Ширь Дона плещется. Но не боюсь упасть в воду. Над головой где-то — Большая Медведица, подхватит своими лапами. Лишь спичечный коробок у нее выпадет, в речной воде намокнет, размокнет, отсыреют спичечные головки. Но она не обратит на этот пустяк никакого внимания. А впереди — будто вечная жизнь. Щемит душу сладкая боль ностальгии.

В этом крае — могила моего деда. Часть детства провел я там. А дед умер в самом конце девяностых.

Помню его спину. Мы в лодке. Он с ружьем. И лишь спину запомнил: серая стеганая фуфайка на нем. Вокруг зеленая болотная вода, камыш и ряска. Тальник у берегов. Проплываем в какое-то окруженное лесом болотное блюдце. А сверху внезапно появляется огромная птица. И мысль у меня, что был это кондор. Он летит на меня. Вот-вот нападет. А я цепляюсь за деда. Дед не обращает внимания. Потом он обернется, проверит, смиренно ли сижу. Это было как во сне. Что за птица то была? Я почему-то верил, что это кондор — огромный. И исчез он так же, как и появился: неизвестно куда.

По берегу крадется болотная черепаха, переступает сухие ветки. Слышно лягушек. Болотный бык гудит — заунывно. А в воде притаились рыбешки: серебряные караси.

Пробыли там недолго. Прошлое как коростель скреблось внутри. Собирались в обратный путь. Зарядил дождь — мелкая дробь из свинцового века туч. Серые струи из неба. Свинцовые струи льются, отливают Русь, печаль паром из изложницы... Писк птицы: заблудилась между стенами дождя.

Серые сумерки, и мы уже где-то в воронежских краях. Я увидел, как вдаль бежит волк. Серый почти растворился в темноте степи. Вспомнил про поверье из белорусского Полесья, родины моего деда. Старинные суеверия говорят, что при встрече с волком можно назвать имя умершего и узнать что-нибудь от него: какую-нибудь весточку от почившего или совет. Волк растворился среди темных лесистых холмов. А где-то вдалеке мелькает огонек во тьме. Вокруг темно и безлюдно. А там — огонек, и напоминает он о домашнем тепле и о страннике, идущем куда-то ночью. Где-то там, в меловых горах, в темной келье — Сицилийская икона Божией Матери, освещенная горящими свечами.

Где-то над оврагами стояли курганы. Вожжи древние спят в них. Древние души и боль пропащих душ под насыпями. Кто в них? Кем они были? Вечный сон погрузил их в туман небытия. А под курганом из пустой глазницы конского черепа растет сурепка. Желна летела над ними, унесла их желчь. Желна вечного сна. Спят они и серая степь вокруг. Слышат, как ржет конь. Бессильной оказалась их плоть против пространства.

Лето оказалось дождливым. Подбирались к полям приметы скорой осени. Лил дождь. Темный вечер, кричит дергач, покрикивает. Будто дергает рожнецом из скирды сено — Богородице, ходившей по Руси стелит постель. А за огородом возле мокрой копны калина мокнет: ее красные плоды — как кровь из ран Иисуса. Заросли крапивы спрятали перепелку.

Эти дни ведут к осени. Уже на «четырке» едем туда, где был хутор. Там когда-то жили. Но перед глазами — длес без признаков человеческой деятельности. Пробираемся сквозь густые заросли. Наконец-то нашли след человека. Этот след — лишь ржавый серп, почти развалившийся, и черепки от горшков. Это следы от бывшей жизни. Там когда-то был сад, были дома и амбары. А видим лишь одичавшие яблоны.

Но когда-то там кипела жизнь. Улетела она, как в сумерках — козодой. Кто-то уезжал в города, старые доживали свою жизнь. Забыты дороги туда. Потомки не помнят. Не знают. Воды ручья несут корни какого-то растения.

Названий всех этих заброшенных хуторов мы не знали. И название этого хутора не знали. Заглохшие места. Те самые, где когда-то кипела

жизнь, где чьи-то судьбы пересекались, те самые, где отпечатался незримо чей-то уход в небытие, чья-то отправная точка на жизненном пути.

То самое место, где были стойбища древних кочевников и хутора крестьян. И становится это место лесом диким, но хранить он будет тайны чьих-то разговоров под звездами, под Большой Медведицей. Где-то стояли их стога.

Неизвестная былая жизнь осталась в травах, в ручье, в серпе. Я не стал ни у кого спрашивать, как назывался тот хутор. Может, и название забыто совсем. Папоротник кругом. Вороний глаз выглядывает — в своей грустной лесной ворожке застыл на краю лесной тропинки.

Когда-то там была и дворянская усадьба. От нее ни следа не осталось. Куда все сгнуло?

Дороги через поля — перескакиваем с одной на другую, пыль летит. Выезжаем наконец-то на асфальт. Столбы с проводами и грусть в хмуром синем окрасе позади. Пыль добавляет серой грусти.

Ничего не сделать... лишь печаль пить... из кубков древнего вечного круговорота увядания и прихода в мир...

Осенью мы снова ехали через те поля. Дорог прежних не было. Их постоянно перепахивали. Смеркалось, мы остановились возле рва. Все осеннее... мокрый бурьян... не постель он ныне... Отсырели травы. Чернобыльник темен, грустен. Осеннее запустение, осенние дожди и сырость. Все это лезет в душу... дует колючий ветер. Все надели шапки.

На краю поля — грунтовок: эфемерная, в следующем году ее, может быть, уже не будет. Запашут, распашут, закультивируют, задискуют дисковой бороной... Свинцовое небо печальной природы. Все попало под каток осени.

За Ольховаткой пруд заглох, утки пугливы. Зеленая тина заволокла все. Сквозь камыш подглянешь — и утка сразу взлетает. Под серым от времени навесом — родник и икона, горит лампада перед ней. Вокруг тускло, и крик улетающих диких гусей... лишь от иконы теплее на душе... Гудит невидимый трактор в полях.

Когда совсем стемнело, ехали через поле, но дорога уже была не видна. Ехали медленно, и каждый раз «четырка» подпрыгивала. А мы подпрыгивали до потолка. Раз ударился головой. Едем и прыгаем, света в салоне нет, фары не горят. Кромешная тьма вокруг. Друг беспокоился за машину: вот-вот развалится. Поездку запомнили на всю жизнь. Поле большое. Подскок, подскок, подскок, подскок, и так прошла бы вечность. Но внезапно машина вынесла нас на твердую грунтовку, и мы вздохнули с облегчением. Выбрались из коварной пахоты, из пасти чернозема. Не рассчитывали, что машина не развалится, но она несла нас дальше.

Вокруг поля, лески и перелески. Где-то далеко мелькнул огонек. То одинокий костерок на краю огромного поля, у леса. Как одинокая душа мелькнул во тьме. Все вокруг черное, как древесный уголь.

Осень становилась холоднее. Заболела душа от ухода соков природы в подземные корневища, от мокроты в высокой траве, от опухшек оскудевших и крика грачей... не быть ли червем, какого склюют на пахоте они... И от этого заболела...

И что осталось от той жизни на исчезнувших хуторах? Хрупкие, едва уловимые следы, покинутые места, порождающие ностальгическую боль. Кондором быть или съеденным грачом... кондором быть... парить в воздухе, выше семи тысяч метров над землей... Забытые места забыты будут когда-нибудь совсем...

## КОСТЕР «ЛИРОВА КОРОНА»

Земля под костром спеклась... И корона, власть, трон — такие же, как горсть этой земли: спекшиеся. Возьми в ладонь, раскроши и навстречу ветру подставь — сдует и развеет по ветру всю эту пыль. Костер горел — Лирова корона он. Такая же, как потерянная и мимолетная власть, Лиром упущенная. Доверившийся дочерям, отказался он от короны и потерял все, а затем и сам отошел.

Призрачный металл наполняет короны своей коварной изменчивостью. Было все, и в одно мгновение ветер развеет это все. И все короны этим комьям земли подобны: если черны не внешне, так изнутри. И пыль вылетает из рук, подобранная ветром. Лишь смирение стали подобно: не рассыплется, как эта горсть земли.

Сижу у этого костра и вместе с миром погружен в ненастье: осенняя природа темна. Вдали от городов. За спиной тут никто не идет по пятам. Не слышно погони и преследующей душу неизвестности.

Руки замазал сажей с обгоревших палок. Над головой старая верба скрипит. Темнеет, сумерки поглотили грунтовые дороги в поле, выше склонов балки. Рядом катит свои воды река.

Плачет где-то сова. В тягучем вечернем воздухе с полями и лесами сливается стон птиц, и чует сердце в этом крае присутствие тернового венца.

Где-то рыщет птица в поисках озерной мошкары. А малинник заглож. Покинутый стоит, ползет дождевая слеза по красным крапинкам. Пройду сквозь него, собрав капли дождя, замочу плащ. Оборвет скоро ветер все листья.

Боярка в сумерках грунтовой глухой дороги осталась случайных прохожих встречать. Но здесь глухо. Лишь лось перебежит через поле. Стог обнюхает. Стоит он там, на высокой меже, на хребте вблизи Млечного пути. Пахучее сено и осенняя прель под ним. Пахучая печаль в них.

Большая Медведица учует этот запах, над моей головой она. Но ненастье гонит тучи. Потеряется она, собьется с пути этой ночью.

Лось почует человека и не выйдет из зарослей, зрачком вопьется в мироздание, к лапам Большой Медведицы мольбы пошлет. Храм мироздания во всем здесь, незримая епитрахиль на стога брызгает изморосью. Радуют сердце эти стога. Не исхожены эти места. А огней города не видать здесь. Он где-то там, за холмами. А здесь скоро дохнет брагой увядания осенний куст, будто сзывая к длинному столу из серого дуба, лишь материально истлевшего, ибо еще из былинных времен пиры князя справляли за ним. Но незримо он цел. Всех пропащих сзывает.

Пропащие души свои сзывает Приснодева Русь, в осенней гуще тающая, в уплывающем крике диких гусей.

Приметой финальной осенней стези за стогом грядет рой синих ветров и стонов конского цавеля в полях. Может, он своим ржавым ухом слышит ржанье половецких коней?..

Тянусь к костру. Тот стал ярче в сгустившейся темноте. Река безмолвна. Когда-то летом в юные годы я с другом шел пешком вдоль берегов речки Разумной. Мы имели цель: пройти от истоков до места ее впадения в Северский Донец.

Стояла жара. Струился от жары воздух. Пыль под ногами на проселочной дороге, по которой мы начали свой путь, — как лунный грунт. Помню, обуты мы в какие-то легкие шлепанцы. Горячую пыль чувствовали пальцами ног.

На проселочную дорогу мы вышли перед тем, как поговорили с одним из наших односельчан, пожилым мужчиной, которого теперь уже давно нет на белом свете. Он рассказал про то, какая сейчас в реке крупная рыба попадает в сети.

Мы вышли наконец-то на проселочную дорогу. Село было позади. Цивилизация также осталась позади, но пока еще видна окраина села с ее ясенями.

С двух сторон грунтовой поля. Слева рос ячмень. А справа — кукуруза. Через полкилометра слева начиналась лесистая балка. Ее название связано с быком. Может, в глубине того рва когда-то прозвучал рев последнего первобытного быка — тура, загнанного туда и пронзенного копьями во времена Всеслава. А может, рев совсем другого быка звучал там. Но бычий рев и ныне ощущается, он над седлами склонов, в верблужьих горбах, на дне в водах ручья.

Балка скрыта от глаз огромными тополями и акациями. Мы шли мимо: дорога спускалась вниз, в долину реки.

Слева и справа появились небольшие дачные домики из белого кирпича. Дачный массив безлюден. Бросались в глаза кусты шиповника и облепихи. А небо — однородного голубого цвета, ни одного облачка. Какая-то белая жара, яркий свет этой жары и небо глубокое, безмятежное. Казалось, что вечность застыла: ветер куда-то пропал, везде царил покой.

Окна некоторых домов закрыты изнутри занавесками цвета бирюзового моря. У пруда, к которому мы вышли, такой же цвет. Стояла тишь в камышах. На воде никакой ряби. Мы подошли к пруду. С собой мы несли удочки, но рыбу ловить не стали. Я зашел в воду по пояс. Вода почти как кипятки, и какая-то дрема в рогозе, а вечность парила в воздухе и проходила сквозь камыш.

Затем мы пошли вдоль пруда. Внезапно дорогу переполз длинный уж. Он спешил к воде.

Дальше змеи нам не встречались. Уж был единственной змеей, которую мы встретили на своем пути. На плотину не стали сворачивать: пруд там заканчивался — и начиналась река, река в своем исконном русле. На илистом дне — огромные залежи ракушек, беззубок. А посередине реки, прямо под старой ракушкой, — омут. Яма та очень глубокая, даже длинным шестом не получится достать до ее дна.

В таком месте мог обитать когда-нибудь и большой сом, чертов конь, речной чертов конь, каким он казался в воображении крестьян былых эпох.

Вместо того чтобы идти по плотине, мы пошли по грунтовой дороге, по которой редко кто проезжал. Эта дорога шла вдоль поймы справа. Мы добрались до огромной ракушки, которой лет двести. Рядом с ней я когда-то нашел медную монетку времен Николая Первого.

За этой ракушкой дорога и река немного поворачивали, и начиналась глухая местность, сзади уже не было видно дачных домиков, а спереди везде — степное разнотравье, слева — пойменная растительность: лозняк, ракушки, осока, камыш. Через те заросли тяжело пробиться к реке. Заросли густые, чащоба и еще жижга под ногами. А после той ракушки пойменный лес представлял из себя болото, заросшее и непролазное.

А высокие обрывы справа могли когда-то в древности быть обжитыми. Но время стерло следы древних землянок северян, покрыв их дерном. А сейчас среди зелени костры Иван-чая горят пурпурными огнями. Мы проходим мимо этих обрывов. Так никто и не узнает и не посмотрит, кто

и когда на них жил. Какими были те древние народы? Может быть, где-то в реке утонула корона древнего пеньковского вождя. А может, где-то на этих буграх и обрывах плясали половцы. У костра, бросая в поля тени и блики оранжевого огненного золота. Только костра и золы той нет, съело время, всеильное и бегущее. А где-то на Лысой горе, ниже по течению, где терновые заросли, половецкой мадонны личико любовалось этими просторами. Ее душа в этих обрывах.

Но дорогу к той Лысой горе я подзабыл.

Мы дошли до моста. Мост притаился в седловине, с двух сторон дорога падала к нему, а под ним воды реки лениво текли в другой пруд, названный в честь Калинина.

Нас одолевала жажда. Решили, что нужно идти к роднику.

По мосту перешли на левый берег. Дорога казалась пустынной, ни одной машины. Жара и блеск листьев ив и раки — ветер не колыхал и травы.

На берегу стоял автобус — ржавый и без колес. Его корпус — как решето: из-за пулевых отверстий. Это упражнялись охотники во время своей ходьбы по буреломам за дичью. Дырявый старый автобус придавал тому берегу печальный вид.

До родника шли по левому берегу в обратную сторону.

Родник внешне не выдавал себя: нужно знать конкретное или примерное его местонахождение.

«Вот он», — сказала я, спускаясь вниз к берегу реки. У моего друга иногда случались эпилептические припадки. Он переживал из-за своей болезни. Эпилептический припадок мог случиться в любой момент, но в том походе припадки не дали о себе знать.

Вода пробивалась сквозь меловые толщи. Меловые породы напоминали о чем-то былом и древнем. Жара и пыль, и этот мел на берегу, и камыш: в этом — какая-то вечная история, но забытая. Где-то мимо устья этой реки проходил полк князя Игоря Новгород-Северского, который впоследствии попал в половецкий плен и бежал. Бежал он по этим степным травам и мог пить именно из этого родника.

Напротив родника видно реку. Ее зеленая гладь замерла под слоями горячего воздуха. Ряска ковром покрывала реку.

На берегу Калининского пруда мы нашли лодку. Но в будке сидел сторож. Друг хотел спустить лодку на воду и продолжить путь по воде. «Сторож проснулся, смотри», — сказал я. «Да он в дрова, видишь, рухнул, что на него смотреть?.. Он дрыхнет дальше», — сказал мой друг.

Сторож и в самом деле сел на лавку в своей будке и, казалось, спал снова. Лодка уже почти на воде. Но друг уже передумал плыть на ней.

Поход наш закончился в конце пруда.

До цели мы так и не добрались. Имели намерение продолжить начатое, но свободного времени не хватило, рутинная затынула. А через два года мой друг погиб в аварии. Летом, в такую же жару, примерно в те же числа.

Он жаждал жить, видеть как можно больше. Я жалел, что тогда не помог ему затащить лодку в воду. А надо было — доплыть на ней до центра пруда и прыгнуть в прохладную воду. Окунуться, нырнуть и вынырнуть.

Ночь вокруг, а передо мной горит костер — Лирова корона. Вдали от города, в глухих местах остановился я у этого костра.

## ПАЙЦЗА В ПАХОТЕ

Тучи — сине-свинцовые кучи соломы прелой в небе. Тусклый свет луны. Она, бродяга, сидит на бревне гнилом. Ворошит клюкой прелую листву. Почки надулись на ветках. Лай собак. Так же они лаяли, когда я первый раз попробовал березовый сок на меже из трехлитровой банки. Чернота полей все та же.

Таает в лунном дыме гонец с золотоордынской пайцзой на шее. Во весь опор несется. Сгинул когда-то он, быть может, в этих полях.

В ночной осенней мгле — дорога. Я на заднем сиденье. Внутри салона света нет. Мерцает под мостом речка. А впереди подъем в гору, справа — знакомые обрывы. Грунтовка там идет вниз, а затем нужно подниматься вверх: подъем по крутому склону. А далее будет лесок, а за ним когда-то давно стоял хутор. Бурьян, глушь и лес — и никаких следов от домов. То, что от хат осталось — руины, глиняные стены, — сгребли в ров.

Среди хлама во рву мы с товарищем когда-то искали черный металл. Место то покинуто в поздний советский период либо чуть позже. Как-то незаметно пропало и название его с географической карты.

Там, где овраг начинал свой бег к реке, стоит кладбище. Почему-то хотелось подольше побыть там. Видно, что некоторые оградки кто-то регулярно красит. А на некоторых могилках деревянные кресты почти спрели. Кресты из толстых древесных стволов, когда-то синие, стали серыми. Мурава на холмиках покачивалась на ветру. Те кресты скоро упадут и истлеют на земле.

Тишина и блаженный ветерок почесал гриву оврага — пожелтевшую, высокую траву. Смирение в ветвях отжившего свое дерева. Розовые пятна появились с другой стороны леса. Пурпурная пластина заката выходила из темных древних курганов. Курганов погребальных для древних кочевников. Наполненных вином печали. Как скрытный зверек в них — печаль.

Мы не спешили уходить с кладбища. Душу согревало невидимое пламя невидимой свечи. Темнела, размываясь в темноте, здешняя река с каким-то загадочным древнерусским ликом.

Возле кладбищенской ограды торчала длинная проволока. А левее от нее отдельно от лесопосадки стояла акация. Под ней — трухлявый пенёк. Он мог быть трухлявым при жизни кого-нибудь из лежащих в тех могилах.

С этого места открывались грустные виды осенних полей. Лесополосы прячут какие-то змиевы валы — земляные насыпи. Свидетели древних деяний, о которых уже не узнать. Комони ржут в малиновых пожарах заката — и заглохшие голоса: куманы скачут древние. Трель птицы серой к крестам обращена может. Гниют кресты. Оградки ржавеют.

На одном кресте — фотография. Пожилая женщина в платке, а за спиной дощатый забор. На забор ползет хмель. Из далеких 70-х картина. Забытая грусть и ласка чьего-то сердца. Кого-то ждала она. Сидела у окна зимними вечерами.

Перехожу к следующей могиле. Покой нашел в ней тракторист. Помню его — как-то ночью с отцом мы подвозили его. Я был маленьким. Поздняя осень. Спускают пруды, отлавливают рыбу. Он допоздна кружился на берегу. Видно дно пруда. Черные затопленные пенёчки древностью дышут. Топляк сырой. Беззубки разбросаны вокруг. Моллюски печальные. Небо чернеет все сильнее. Торчат колышки — клячи. В серый ил их

воткнул наш попутчик. Утопает в иле почти по колено. Но вытаскивает поочередно ноги из этой муляки. Шелестит камыш. Кусок старого бредня лежит возле него. Я хожу и подбираю беззубки.

Посреди тонкий ручеек — исконное русло реки. В сетях холодных подпрыгивает рыба. Он каждую позднюю осень ездил на пруд. Поздней осенью обнажается его дно — будто заглядываешь в иной мир. Туда, где следы прошлого, пеньки леса. Он будто свою позднюю осень чувствовал. «А мой сынишка с твоим учится», — говорил он моему отцу, когда мы мчались на зеленом «москвиче» мимо лесопосадки.

Он таскал в этих черных морях борону. Пахал. На гусеничном тракторе ДТ-75 тонул в этой зяби. А там красно-грязной точкой поднимался на хребет под самое солнце, где до самого горизонта пахота шла на подъем. А однажды его трактор заглох посреди поля ночью. И у костра он провел всю ночь. Под скрип старой ракиты.

А в следующую позднюю осень его не стало. Говорили, он скрывал, что у него что-то болит. Теперь в иных пространствах он. В земляной клетке его прах затворен.

Стало совсем темно, и мы уезжаем. Ветер и дальше дует. Сосновый ладан собран. А под холмиком — может, старик, который видел девятнадцатый век. Вечным сном спит. И забыл все. А этот запах сосны неучтиво пробегает над его прахом.

Выезжаем на грунтовую дорогу. Несемя мимо леса. Слева — большое поле. Проезжаем мимо байрака. Там сквозь сеялку времен коллективизации выросло дерево. Корни вросли в нее крепко. Колхозная печаль полей прочно сидит здесь. Колхозную Русь — и ту, ушедшую, как пот впитала в себя эта зернистость, эта чернь, эта пеньков древних труха. Дышать не надышаться этим воздухом — зажечь свечу пред иконой, стать ближе к тем, кто ушел до нас, но они здесь. Эта Русь — все тут же. Под Покровом Богородицы все здесь. И голоса половцев у лесного водопоя в шелест листьев дуба вплелись.

Где-то в пахоте скрыта от глаз монгольская пайца. Утеряна кем-то в годы межбоусобиц. Сгинул кто-то во мгле. С шеи сорванный металл. Чьей-то души пропащей частичка. Послание недоставленное дух метаться заставило? Лихие люди погубили? Шумит кудрявый клен. Может, где-то под ним она?.. Плугом поднята будет ли? Иль навсегда останется не найденной?.. Где-то в поле — следы от землянок праславян...

Больше не смотрю в ту сторону. Там безлюдно — и ни души. Прах под прелой листвой. Забытое место. Печалью поит оно.

Растягиваюсь на заднем сиденье. Под мостом бегут воды реки Разумной. Ночная чернь реки, лунный блеск слева. Стекло блеснуло. Чья-то печаль в нем. Ехать еще долго. Впереди где-то далеко — Замоскворечье. Курганы вятичей, озеро древнее, где убийц Андрея Боголюбского в коробах утопили. Озеро беспокойно — и стоны издает. Туда, где зародилась мистическая Русь с мощами и иконами древними. Ехать еще долго. Разговариваем о Замоскворечье и о грибах — растут ли они в пойме реки под мостом? Впереди двое. А я сзади один — могу вытянуться, лежать. Луна светит в лицо. Опускаю стекло. Луна серебром реку осыпала.

